

за все свои тысячелетия. А если они возражат, что историки тоже не придумали компьютеров, — на это есть ответ: историки, в отличие от оккультистов, не пытаются развенчать физические науки, создавшие современный технический мир, а сотрудничают с ними настолько, насколько вообще позволяет специфика их предмета.

Получается, что важнейшие решения должны принимать учёные-теоретики, а непросвещённая масса не должна иметь слова в этих решениях. Её активность может быть только хаотической, такой, какой мы её видим на протяжении всей истории. Вывод — технократическая утопия, власть разумной элиты. Так? Опять не так. Тот же гитлеровский режим за 12 лет успел проделать путь от диктатуры тёмной массы к диктатуре технократов, но сути своей не изменил. Если штурмовики могли лишь бить стёкла в еврейских магазинах, то «высоколобые» теоретики евгеники и расовой гигиены сумели с 1942 г. перейти к «окончательному решению еврейского вопроса», о котором их предшественники разве что мечтали.

Ошибка предыдущего вывода — в словах: «непросвещённая масса». Почему большинство населения обязано быть *массой*? Почему — *непросвещённой*? В такой ситуации перед человечеством действительно всегда будет стоять скудный выбор: либо разумная диктатура, либо неразумная — но тоже диктатура. То есть, по Н. Я. Эйдельману (1986: 146), — «просвещённый» или «непросвещённый абсолютизм».

Демократия — это власть людей, чётко осознающих свои интересы и умеющих их защитить. Но и то, и другое невозможно без *просвещения*, без усвоения практически всеми гражданами *гуманитарных знаний*, на которых основаны все современные ценности. Только просвещённые люди способны быть демократами. Без этого мы всегда будем обречены на систему типа латиноамериканской, до тех пор, пока общество не придёт в непоправимое противоречие с экологической средой и не будет этим противоречием раздавлено. Но такие люди по определению не бывают «массой». Даже в большом количестве они действуют как множество *индивидов*, а не как *аморфное* множество. В этом и состоит коренная ошибка идеологов массовости.

В чём же тогда смысл внимания к мифам и мифологическому мышлению? Дело в том, что они ярко и адекватно выражают комплексы нашего подсознания, наши ценности и потребности — иными словами, *желания*. Только при их исполнении человек может быть счастлив. А разум с его ограничительными механизмами и точным анализом указывает нам *средства* для достижения этих желаний. И не дай Бог перепутать их функции! Если принизить разум в угоду подсознанию — получится воинствующее варварство, если наоборот — голая технократия, царство холодного расчёта. В обоих случаях это будет образ жизни, превращающий человека в винтик какого-то надчеловеческого механизма — и потому недостойный Личности, несовместимый с её потенциалами.

VI.5. Этническая или социальная психология?

Почему же авторы так упорно сводят социальную психологию к национальной? Как ни печально, имелись основания, позволяющие если не согласиться с такой точкой зрения, то хотя бы объяснить, откуда она взялась. В отличие от Англии, Франции или Китая, многие страны Центральной и Восточной Европы опоздали

с государственным развитием и вышли на историческую арену, уже имея сильных соседей с развитой городской культурой, торговлей и ремеслом. Чтобы отставание не стало безнадежным, короли «импортировали» недостающих специалистов, не столько покровительствуя собственным горожанам и помогая им перенимать чужой опыт (как пытался сделать Пётр Великий, Советская власть или КНР⁹⁴), сколько приглашая ремесленников, торговцев и интеллигентов из других стран, в основном из соседней Германии. В Польше, Венгрии (с Трансильванией и Хорватией), Чехии очень долго дворянство и крестьянство было национальным, а вся буржуазия — либо немцы, либо евреи-ашкенази (то есть выходцы из той же Германии, говорящие на швабском диалекте немецкого языка). Ещё более это относилось к духовенству, по определению интернациональному, к тому же собственные его кадры было негде готовить: университеты в этой части Европы начали появляться лишь с XIV в. Вплоть до эпохи Реформации образованные люди (что значило обычно — клирики) чувствовали себя международным братством, переводили свои имена на древние языки и общались между собой на латыни.

Этот способ ускоренного развития не исчез и в дальнейшем: ещё в XVIII в. Мария Терезия и Екатерина II приглашали в свои империи колонистов любой национальности, обладавших полезными навыками и хотя бы небольшим капиталом. Эдикт Марии Терезии от 1749 г. гарантировал им льготы, которых не было у коренного населения австрийских владений, включая свободу от налогов и даже веротерпимость. Естественно, платить за такую политику должны были местные жители. Примерно так же в начале XIX в. заселялась «сия пустынная страна» — Бессарабия, хотя здесь русское правительство обеспечивало и колонистам, и местному населению особые льготы за свой счёт (на то у него были свои причины). Даже в XX—XXI вв. такую политику проводит самая развитая страна в мире — под именем *brain drain* («перекачки мозгов»).

Но это вело к тому, что сословия превращались в *этносословия*, каждая социальная ниша была занята представителями лишь одной-двух национальностей (и напротив, каждая национальность занимала не все ниши), а черты общественного сознания, по всем законам марксизма определяемые общественным бытием, воспринимались как этнические и врождённые. Например, казалось естественным, что все евреи — торговцы или ростовщики: на эту социальную роль они и были приглашены. Других путей у них не было: даже при всём желании они не могли ни стать крестьянами (как правило, не было свободных земель), ни войти в ряды знати (за немногими исключениями, как в Кастилии XIII века, столь завидное положение не давалось чужакам), а интеллигентные профессии очень долго были слишком немногочисленными, чтобы восприниматься как нечто отдельное. Для архаического сознания крестьян и сельских помещиков логичен был вывод: буржуазная психология — этническое свойство этих иммигрантов, тем более что они резко отличались от всех окружающих языком, стилем поведения и даже религией (после Реформации последнее стало касаться и немцев-лютеран). Если же свой человек достигал до положения буржуа и начинал (волей-неволей) вести себя так же, легко было представить, что он попросту «онемечился» или «научился у евреев». И напротив, психология аристократизма казалась традиционным свойством «благородных» наций, а не результатом того, что в этих нациях представлены не все соци-

⁹⁴ См. Чжан Байчунь и др. 2009.

альные группы. Характерно, что с 1649 г., когда евреям вновь, после более чем трёхвекового перерыва, было позволено жить в Англии, где даже среди дворянства уже господствовали буржуазные ценности, и до наших дней антисемитизм в этой стране не возник. Не было его и в Италии, где национальная буржуазия сложилась в эпоху Возрождения, а знать очень часто как раз была пришлой.

И такие настроения были тем сильнее, чем больше старое рыцарство проигрывало историческое соперничество возвышающейся буржуазии. Промышленный переворот и великие революции обострили его до крайности. Сходящие со сцены классы — дворянство, духовенство и та часть крестьянства, которая не перешла к буржуазным методам и не успела разориться, превратившись в промышленных рабочих, — искали объяснения происходящему. Будущее могло их только пугать (не отсюда ли постоянные рассуждения о «трагическом» у эпигонов Вагнера и Ницше, о спасительной роли страха у Эрнста Юнгера?). Аристократ, вроде Кюстина или Гобино, мог ускользнуть от ножа гильотины, но не от разорения и не от перспективы идти ради хлеба в услужение к выскочке, совсем на него не похожому и презирающему такие «устаревшие» понятия, как «честь и долг».

Одно из самых тяжёлых по настроению сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина — «Убежище Монрепо». Его финал — «Предостережение» отставного корнета Прогорелова купившему его имение «новому русскому» тех времён Разуваеву. Это один лишь сплошной вопль: «идёт чумазый! Идёт, и на вопрос: что есть истина? твёрдо и неукоснительно ответит: распивочно и на вынос!». Разуваев пугает героя (и автора), но всё, что осталось отставному корнету, — бессильно изливать злость да заканчивать своё письмо моральными призывами: «Я равнодушествовал — ты сострадай; я бездействовал — ты хлопочи <...>. Люби отечество, чти государство, повинуйся начальникам. люби, люби и люби своё отечество!» — в надежде, что «буржуй» ещё не все старые ценности растерял. Но при этом сам же автор вынужден признать: Прогорелов не может ни удержать имение в руках, ни получить с него доход, а Разуваев — может. От одного его окрика с пахаря, лениво ковыряющего помещичью землю, слетает лень — он видит будущего хозяина, и притом крепкого. Прогорелов же надеется лишь на «непостыдное умирание», право дожить остаток дней без унижения («... каков, однако же, идеал!»). Но и при всём том остаётся вопрос: *можно ли требовать от человека, чтобы он любил и приветствовал собственную гибель?* Или тех, кто, *по его мнению*, в этой гибели повинны?

Конечно, все эти классы накопили богатейшую культурную традицию, восходящую ещё к эпохе викингов и крещения Европы. Но старые традиции всегда очень ригидны: чем больше они могут объяснить, тем труднее воспринимают новые идеи, тем больше цепляются за привычные объяснения, изначально предназначавшиеся для иных условий, уже канувших в небытие. Поэтому «традиция — это запрограммированное самоубийство культуры» (Гкачук 1996: 125, см. подробнее — там же: 118—126, 131—172), в данном случае — культуры феодальной. Всё, что могли эти группы, — реанимировать свои старые представления, изложить их языком современной науки, подвести под них хоть какую-то идейную базу. «Грядущий чумазый» и его спутники — порождённые им промышленные рабочие и новая интеллиген-

ция — казались дворянству и патриархальному крестьянству не просто «новыми людьми», но новым *племенем*, другим народом. Каким же? Вероятно, еврейским — потому что именно евреи и раньше занимали ту социальную нишу, которая теперь начала так неожиданно расширяться, поглощая осколки знати (в Юго-Восточной Азии та же роль, и по той же причине, досталась китайцам). В начале XIX в. граф Жозеф де Местр пускает по миру идею о революции как результате «еврейско-масонского заговора», в 1830 г. в Германии возникает идеологический антисемитизм, в эпоху реформ Александра II под пером Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева начинается перерождаться славянофильство. В тёмных сумерках заката старого мира — жестокого, но привычного и такого понятного, — вылетела сова расистской Минервы⁹⁵.

Вот этот-то ход мысли мы и находим у А. Розенберга. Три системы, которые он так странно выделил («нордическая», католическая и «материалистический индивидуализм»), — на самом деле системы ценностей дворянства, духовенства и буржуазии. Характерно, что автору не хватает категорий. Например, он вообще не заметил промышленных рабочих, включив их, видимо, в буржуазную систему. Как и О. Шпенглер, для которого «феллахи», «кочевники мировых столиц» — лишь порождение упадочной «цивилизации» (но никак не особый слой со своими интересами и ценностями), а «поместное дворянство» — лишь «высшая форма» крестьянства (Шпенглер 1993: 165). Впрочем, это объяснимо: в кайзеровской Германии, как и в царской России, промышленное развитие началось довольно поздно, и рабочие чаще всего были оторваны от сохи в первом или втором поколении, к тому же большую часть старых рабочих кадров поглотили фронты мировой войны. В таких условиях у рабочих не могло быть собственных интересов, отличающихся от крестьянских, кроме разве что тех, что пытались навязать им представители старых элит, включая доктора философии К. Маркса и фабриканта Ф. Энгельса. Последние, кстати, не могли понять, почему люди наёмного труда, удовлетворив первейшие жизненные потребности, начинают желать совсем не того, что подсказывал их собственный классовый анализ, и объясняли это лишь прямым подкупом «рабочей аристократии» буржуазией.

Быть может, это — вопрос личных вкусов Розенберга, Шпенглера или Дарре? Но и генеральный план «*Ост*», плод совместного творчества нескольких учреждений, ставил своей целью не промышленное, а «эффективное аграрное общество». Помимо расовых чисток (и после них — уже после онемечивания восточных территорий!), эта расистская утопия предусматривала разукрупнение промышленности и создание новой инфраструктуры, учитывавшей прежде всего нужды сельского хозяйства (Хайнеман и др. 2008 {2006}, разд. «*Эффективное аграрное общество как цель*»).

Но если вернуться к Розенбергу, то интересно было бы знать: какой расы, по его мнению, современные шведские, норвежские или американские рабочие? И как это вышло — ведь в Швецию и Норвегию, например, никто особо не иммигрировал, скорее наоборот — лишь в XIX веке эти страны справились с хроническим перенаселением? А современный швед, как правило, ведёт себя совсем не «нордиче-

⁹⁵ Известен афоризм Гегеля, что философское осмысление какой-либо жизненной формы начинается лишь тогда, когда её подлинное, живое развитие закончилось: «сова Минервы вылетает с наступлением сумерек».

ски». Да и норвежцы отнеслись непримиримо к нацистским оккупантам. Впрочем, для идеологов с аристократическими ценностями (вроде Шпенглера и Розенберга) это-то как раз понятно: для них пролетариат, порождённый индустриальным обществом, — не более чем попутчик (если не придаток) буржуазии, характерная черта того нового мира, который их пугает.

VI.6. Мифы аристократии — «народу»?

...имена пращуров в истлевших свитках были слаще их уху, нежели имена сыновей.

Дж. Р. Р. Толкиен. Властелин Колец, IV,5

Однако попытка «научно» обосновать аристократизм сыграла со своими теоретиками очередную злую шутку. Мифы, которыми они пытались пользоваться, в своё время были созданы для другой цели: для обоснования особых прав не данного этноса по отношению к остальному миру, а аристократии по отношению к податным сословиям *своей* страны.

Таков, например, миф о поляках как потомках сарматов, а венграх и литовцах — соответственно скифов и римлян. Анализируя эти мифы, исследователь из Института славистики Польской Академии наук Лешек Хензель замечает:

«Рождение этих мифов связано с созданием концепта нации. Однако при этом не следует забывать, что в то время нация состояла из единственной социальной группы — дворянства. Оно руководило страной и решительно запрещало проникновение членов других социальных групп в свою касту. Занимая всё более и более важную позицию в международных отношениях, новые общества нуждались, в ущерб старым, в конструировании собственной истории, которая через множество знаков и символов возводила бы их к уникальному прошлому, узаконивающему их существование» (Hensel 2003: 47).

Поэтому литовские магнаты — например, Пацы и Сапегы, — возводили свой род к римским корням, но доказать такое же происхождение своих крестьян они и не пытались — зачем?! Но такой же ход не был закрыт и для польских магнатов, охотно роднившихся со знатными семьями не только Литвы, но и романских стран. В итоге, по выражению Евы Кулицкой, «Речь Посполитая делилась на “римских” магнатов, с одной стороны, и “сарматскую” дворянскую массу, с другой» (: 48). О славянах речь вообще не шла, поскольку простонародье (польское, литовское, восточнославянское — безразлично) считалось попросту «домашней скотиной» (таков буквальный перевод слова *bydło*).

Точно так же Павел I отвечал на рассказ о потёмкинских деревнях: «О, я это хорошо знаю! Вот почему мой собачий народ хочет быть управляемым только женщиной!» Комментируя эти слова, Ст. Расседин (1985: 187) указывает, что в устах царя слово «народ» означало только «дворянство». О крестьянах Павел был иного мнения. К. Валишевский приводит письмо императора жене из Нерехты от 3 июня 1798 г. с упоминанием «крестьян, которые, в скобках, бесконечно более любезны, чем... тш! [Chût!] Этого не надо говорить, но надо уметь чувствовать» (цит. по: Эйдельман 1986: 114). Знал он и о своей популярности в низах — именно как первого